

Не понимаю!

В одной из одесских газет я прочла объявление:

"Одна из телекомпаний обращается с просьбой об организации съемок и поиске людей для документального проекта об оккупации... Нам нужны люди, которые пережили оккупацию в Одессе и могли бы об этом рассказать. Подтемы:

- *мирная жизнь в городе, развлечения, работа театров, кафе;*
- *жизнь в детском доме, который находился в одесских катакомбах;*
- *взрыв в гестапо;*
- *история любви одесской девушки и румынского оккупанта;*
- *пресса в оккупационной Одессе...*

Просим вас о содействии и заранее благодарим".

Текст этого объявления примечателен сам по себе. Достаточно обратить внимание на слова "мирная жизнь в городе". Это во время войны-то! То есть если по центральной улице города не проходит непосредственно линия фронта, то войны как бы и нет? Да, конечно, жизнь в оккупированном городе была сложной, разноплановой — развлечения и гестапо, кафе и катакомбы, — но ведь шла война. Война — это не мир. Или я чего-то не понимаю?

Скорее всего, дело обстоит именно так — не понимаю. В последнее время я очень многого не понимаю. Не понимаю политики украинских властей по отношению к воинам УПА, не понимаю действий эстонских властей по отношению к Бронзовому солдату... Не понимаю, почему страшную правду о той войне мы сейчас хотим размыть сентиментальными историями о любви одесских девушек и румынских оккупантов.

Да, вероятно, такие истории были. Любовь, опаленная войной, настигала людей и по ту, и по другую сторону фронта. Но почему с такой ужасной формулировкой — "история любви одесской девушки и румынского оккупанта"? Не солдата, не юноши, а оккупанта? Кто станет рассказывать о такой любви? Эта тема слишком интимна и болезненна, чтобы затрагивать ее с таким подтекстом.

Или я опять чего-то не понимаю?

И почему именно с румынским оккупантом, а не с немецко-фашистским захватчиком? Таких историй тоже, поди, было не мало. Но авторы проекта почему-то настаивают на румынских оккупантах. Почему? Этого я тоже не понимаю. Хотя смутно догадываюсь.

Как-то в разговоре мой друг заметил, что в оккупированной Одессе румыны вели себя мягче, чем немцы. "С чего ты взял?" — спросила я друга. "Ну как же! — ответил он. — Это известно. Все так вспоминают. Все так считают".

Получается, что я — единственная, кто так не считает. И не считаю я так с тех пор, как однажды совершенно случайно услышала, как моя бабушка поведала, даже не мне, а при мне, историю, которую она никогда и никому больше не рассказывала. Поскольку мне тогда было от силы лет двенадцать, а история эта никогда больше не всплывала, то подробностей я не помню, о чем отчаянно сожалею, ибо подробности порой говорят больше, чем сам факт. А факт таков.

Во время войны моя бабушка работала кассиром на железнодорожной станции Раздельная Одесской области. Однажды, когда она шла с работы и несла сумку с деньгами — своей зарплатой, — на нее напали румынские солдаты. Их было трое. Она — одна. Они — с автоматами. Она — с дамской сумочкой. За сумку с деньгами она держалась крепче, чем солдаты за свои автоматы. Пытаясь отобрать у нее сумку, они несколько метров проволокли ее по гравию железнодорожной насыпи. Но ободранных в кровь ног и рук оказалось недостаточно, чтобы молодая девушка выпустила из рук сумку с бумажками, на которые должна была жить целая семья. Тогда солдаты стали бить ее ногами. Удары сапог в живот и по почкам возымели, наконец, действие. Сворачиваясь калачиком и хватаясь за живот, девушка забыла о сумке. А brave солдаты, отвовав добычу, еще раз поддали сапогом эту упрямую стерву и отправились навстречу новым подвигам.

"О чем я тогда думала?! — сокрушалась бабушка по ходу своего повествования. — Деньги они все равно отобрали бы. А так еще и убить могли... Кто бы тогда семью кормил? Ведь я одна работала..." Но больше, чем своему упрямству, бабушка удивлялась своей выносливости. Как она смогла дойти до дома? "Ведь ни разогнуться не могла, ни ногой пошевелить... и голова раскалывалась..." Но она дошла. А дома... дома — "второй фронт", то есть постоялец. Немецкий офицер. Врач.

С первых дней своего поселения он требовал, чтобы ужин ему подавала она и только она. Не ее мама, не кто-то из двух ее сестер, а она. Смеем предположить, что из-за ее чертовской красоты (примесь греческой крови давала о себе знать и в чертах лица, и в осанке). Понятно, что в тот вечер она была не в состоянии принести ему ужин. Но когда немец вместо нее увидел ее мать, он стукнул кулаком по столу и потребовал Катарину. (Мою бабушку звали Катей. Если бы немец слышал, как она пела "Катюшу"!..)

Катарина, собрав последние остатки воли, внесла в комнату офицера поднос с ужином. Когда она дрожащими руками наливала чай, офицер обратил внимание на ее левую руку. Неожиданно он схватил ее за запястье, задрал рукав и стал пристально рассматривать свежие царапины. Потом покраснел и наотмашь ударил девушку по лицу. Удар был такой силы, что она не удержалась на ногах и упала, увлекая за собой скатерть с чашками и тарелками. На шум прибежали мать и сестры.

"Что это?!" — заорал немец, показывая им Катину левую руку, на внутренней стороне предплечья которой виднелась небольшая ранка. А от ранки почти до середины плеча тянулась тонкая красная подкожная полоска — красноречивый намек на заражение крови. "Откуда это?" — продолжал допытываться немец. Мать с сестрами сбивчиво рассказали о происшествии, а немец еще больше расвирепел. "Идиотки! Почему не сказали мне сразу? Мне, врачу! Ты, мать, понимаешь, что жизнь твоей дочери идет на минуты?.." — так или примерно так высказался врач и велел принести самогонки. Влив в теряющую уже сознание девушку стакан ядерного раздельнянского самогона, он обработал ним же и скальпель. Оперировал тут же, на столе, покрытом простыней, и какими-то немецкими ругательствами. А затем долго выхаживал пациентку, удивляясь крепости ее молодого организма, потерявшего столько крови, но не потерявшего желания жить.

Я не знаю, что было дальше. Вернее, не знаю, КАК это было. Я знаю, что 4 апреля 1944 года 37-я армия и конно-механизированная группа под командованием генерал-лейтенанта Плиева освободили Раздельную. А 10 апреля наши войска освободили Одессу. Но как это происходило в отдельно взятом доме, доме моей бабушки, — не знаю. Бабушка об этом не говорила, а я была слишком юной, чтобы понимать, что есть вещи, о которых если не спросишь сейчас, то не спросишь уже никогда. И я не спросила. Не успела. Бабушка умерла, когда ей едва перевалило за шестьдесят. А мне казалось, что еще вся жизнь впереди: успеем и наговориться, и натанцеваться (она учила меня танцевать вальс), и не раз еще споем "Катюшу"...

Тогда я не понимала — ох дура, дура — ценности таких воспоминаний. Теперь не понимаю попыток их переоценки.

Но я понимаю, что если бы не тот немецкий врач, то не было бы сейчас на свете ни меня, ни моего сына. А если бы не те румынские солдаты, то моя бабушка прожила бы, наверное, чуть дольше и смогла бы поведать и мне, и телеканалу подробности своей "мирной" жизни в оккупации.